

Л. П. ЖУКОВСКАЯ

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА ДРЕВНЕЙШЕГО ПЕРИОДА

В последние годы по общим вопросам истории русского литературного языка неоднократно высказывался Б. О. Унбегаун¹. Его постулаты основаны более на высказываниях предшественников и на умозрительных заключениях, чем на собственных исследованиях памятников письменности. Он доводит до крайности распространенную точку зрения о церковнославянской основе русского литературного языка и выдвигает тезис о непрерывном развитии его по законам церковнославянского языка «до автобиографии Паустовского»². Совсем недавно Б. О. Унбегаун решил «подвести кое-какие итоги современному состоянию науки о русском литературном языке» (Рус. лит. яз., стр. 329). В связи с этим обсуждение затронутых Б. О. Унбегауном и смежных вопросов становится безотлагательной задачей историков русского литературного языка³.

Если не иметь в виду задачу истории развития науки, то позиции того или иного исследователя целесообразно рассматривать ретроспективно, поскольку каждый специалист, пока он работает, обычно совершенствуется, а иногда, в результате все большего собственного проникновения в материал или под влиянием новых исследований других ученых, меняет свои взгляды на ту или иную проблему, занимающую его длительное время. Руководствуясь этим, целесообразно более или менее полно рассмотреть те положения Б. О. Унбегауна, которые приведены в двух последних его статьях, предыдущие же привлекать лишь в той мере, в какой это необходимо для освещения отдельных положений.

Прежде всего встает вопрос, что понимается в рассматриваемой концепции под литературным языком. Прямого определения Б. О. Унбегаун не дает, но косвенно об его понимании литературного языка можно судить по такому, например, высказыванию: «У восточных... и южных славян этот старославянский язык стал средством для выражения всей

¹ Б. Унбегаун, Разговорный и литературный русский язык, «Oxford Slavonic papers», 1, 1950; его же, L'héritage cyrillo-méthodien en Russie, «Cyrillo-Methodiana: Zur Frühgeschichte des Christentums bei den Slaven, 863—1963» («Slavistische Forschungen», 6), Köln — Graz, 1964; его же, Le russe littéraire est-il d'origine russe?, RÉS, XLIV, 1965; его же, Язык русской литературы и проблемы его развития, «Communications de la délégation française et de la délégation suisse», Paris, 1968; его же, Историческая грамматика русского языка и ее задачи, сб. «Язык и человек. Сб. статей памяти проф. П. С. Кузнецова (1899—1968)», М., 1970 (далее в тексте — Ист. гр-ка); его же, Русский литературный язык: проблемы и задачи его изучения, сб. «Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти акад. В. В. Виноградова», Л., 1971 (далее в тексте — Рус. лит. яз.).

² Б. О. Унбегаун, Язык русской литературы..., стр. 130.

³ Взгляды Б. О. Унбегауна отчасти уже обсуждались в нашей литературе. См.: В. В. Виноградов, О новых исследованиях по истории русского литературного языка, ВЯ, 1969, 2; М. А. Соколова, К вопросу о славянизмах, сб. «Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти акад. В. В. Виноградова»; С. И. Котков, О памятниках народно-разговорного языка, ВЯ, 1972, 1.

духовной деятельности — богословия, философии, науки и литературы, т. е. стал тем, что условно именуется литературным языком в широком (! — Л. Ж.) смысле слова» (Рус. лит. яз., стр. 330). Судя по предыдущей статье, под литературным языком Б. О. Унбегаун подразумевает письменный язык богословских, философских, эстетических или научных по своему содержанию текстов. Это прямо вытекает из его определения «нелитературного» письменного языка как «языка, впервые зафиксированного в юридических текстах, принятого затем в административных и деловых документах и ставшего довольно развитым письменным языком нелитературных текстов, т. е. таких, которые не преследовали богословских, философских, эстетических или научных целей. Этот нелитературный письменный язык, — пишет Унбегаун, — прекратил свое существование в первой половине XVIII в., передав некоторые свои элементы пережившему его параллельному церковнославянскому литературному языку, служившему как раз целям, не входившим в компетенцию нелитературного языка» (Ист. гр-ка, стр. 263).

Таким образом, по Унбегауну, разница между древнерусским литературным и нелитературным письменными языками определяется содержанием памятников: «нелитературный» язык употреблялся для «административных и деловых документов», а литературный — для «богословских, философских, эстетических и научных целей». Важно отметить, что даже при таком узком понимании сферы применения литературного языка очевидна противоречивость позиции Б. О. Унбегауна.

Так, Б. О. Унбегаун, с одной стороны, утверждает: «требуется... лишь одно: признать, что этот (т. е. современный! — Л. Ж.) русский литературный язык является русифицированным церковнославянским литературным языком, развивавшимся без перерыва, хоть и не без толчков, с XI в. до наших дней» (Ист. гр-ка, стр. 267). Б. О. Унбегаун упрекает А. А. Шахматова в том, что тот «подпал под влияние господствовавшего в его время и господствующего до сих пор взгляда на современный русский литературный язык как на исконно русский, но впитавший в себя церковнославянские элементы» (там же, стр. 263), тогда как, по мнению Б. О. Унбегауна, А. А. Шахматов «должен был бы говорить о церковнославянской базе русского литературного языка и о русских элементах в нем» (там же). Однако, с другой стороны, оказывается, что сам Унбегаун считает фонетику русского литературного языка народной («фонетический строй не может не быть вполне национальным» — там же, стр. 265), морфологию сильно русифицированной (ср. косвенное суждение: «В сравнении с морфологией синтаксический строй был русифицирован лишь незначительно, да и то не на ступени предложения, особенно сложноподчиненного, а главным образом на низшей ступени словосочетаний» — там же, стр. 266). В предыдущей работе он еще более ясно высказывался по вопросам фонетики и грамматики: «Фонетически церковнославянский язык обрусел с самого начала переноса его на восточнославянскую почву. Морфологическое его обрусение продолжалось много веков и было закончено, за некоторыми исключениями, лишь в XIX в. Меньше всего русификация затронула синтаксис, подвергшийся в XVIII в. другим, не русским, влияниям»⁴.

В последней своей работе Б. О. Унбегаун как бы подводит итоги этим своим размышлениям: «Просто литературный церковнославянский язык, с самого начала русифицировавший свою фонетику (что было неизбежно), русифицировал, за немногими исключениями, в течение XVII в. и свою

⁴ Б. О. Унбегаун, Язык русской литературы..., стр. 129.

морфологию. Синтаксис предложения продолжает оставаться в значительной степени церковнославянским в естественном симбиозе с французскими синтаксическими конструкциями, принятыми в XVIII в.: не следует забывать, что в синтаксическом отношении оба языка — церковнославянский и французский — восходят к единой классической традиции. Русские же синтаксические элементы функционируют главным образом на более низком уровне словосочетаний» (Рус. лит. яз., стр. 331—332).

Таким образом, получается, что «русифицированный церковнославянский современный русский литературный язык» Б. О. Унбегауна имеет русскую фонетику, рунифицированные морфологию и синтаксис словосочетаний, но синтаксический строй предложения (главным образом на уровне сложноподчиненного предложения), унаследован им из церковнославянского (и впоследствии подвергся иным воздействиям). Впрочем и суждения о синтаксисе у Б. Л. Унбегауна непоследовательны и неосновательны. Так, из его утверждения, что синтаксис сложноподчиненного предложения заимствован русским языком из церковнославянского, вытекает, что он составляет принадлежность литературного письменного языка; в то же время Б. О. Унбегаун полагает, что юридические тексты написаны «нелитературным письменным языком». Однако к числу последних принадлежит, например, «Русская Правда», основные положения которой были сформулированы восточными славянами еще до принятия христианства и появления на Руси богослужебных книг и других произведений древней письменности на славянском языке (т. е. не на греческом или каком-либо другом неславянском языке). Широко представленные уже в этом памятнике древнего русского права сложные синтаксические конструкции, в том числе и сложноподчиненные предложения, свидетельствуют против утверждения Б. О. Унбегауна о церковнославянском характере синтаксиса. Против положения Б. О. Унбегауна говорят также отмеченное Н. А. Мещерским «умелое использование писавшими сложных синтаксических структур, предложений с двумя и тремя придаточными предложениями» в новгородских берестяных грамотах⁵, язык которых, по Б. О. Унбегауну, не является русским литературным, так как он не церковнославянский. Так «широкое» понимание сферы литературного языка у Б. О. Унбегауна на деле оказывается существенно суженным.

Высказываний о лексике в последней работе Б. О. Унбегауна нет. В предыдущих же статьях они весьма противоречивы. В статье 1965 г. Унбегаун еще полагал, что «старославянский язык был настолько близок к языку восточных славян, что его можно было рассматривать в качестве более возвышенной (стилистической) разновидности их собственного языка... Лишь словарь и синтаксис различались, и то только в высшем языковом пласте»⁶. «В отношении к старославянскому древние носители восточнославянского языка могли ощущать чувство того, что это их собственный язык, но с более богатым и с не вполне понятным для них словарным составом»⁷. В дальнейшем же эта «возвышенная разновидность» с лексическими различиями «только в высшем языковом пласте» станет у Б. О. Унбегауна не «разновидностью», а языком, в котором словарь будет оставаться церковнославянским, развивающимся средствами церковнославянского словообразования.

О слове вообще Б. О. Унбегаун в 1965 г. писал: «Если словарный состав, который не образует замкнутой системы, содержит чуждые слова,

⁵ Н. А. Мещерский, К изучению языка и стиля новгородских берестяных грамот, «Уч. зап. Карельск. пед. ин-та», XII, 1961, Петрозаводск, 1962, стр. 110.

⁶ B. U n b e g a u n, Le russe littéraire..., стр. 20.

⁷ Там же.

малопонятные большинству простых смертных, то все же можно говорить об одном и том же языке. Словарный состав английского языка коренным образом изменился после норманского завоевания, но английский язык остался английским»⁸. Таким образом, по Б. О. Унбегауну, даже смена словаря языка (что, вероятно, слишком сильно звучит даже в применении к английскому языку) не делает язык, подвергшийся влиянию, слепком влияющего языка. Однако то, что английскому языку «во здравие», для русского языка — «за упокой» и ведет к утрате его самостоятельности. Словарный состав английского языка стал норманским, а язык остался английским, но словарный состав русского литературного языка, согласно Б. О. Унбегауну, оказывается церковнославянским, хотя старославянский язык был всего лишь письменной формой языка, сложившейся на базе близкородственных языков. Унбегаун пишет: «Словарный состав русифицировался очень медленно и, что самое главное, лишь частично»⁹. Однако в последней статье встречаем прямо противоположное утверждение: «Фонетика, морфология и синтаксис — закрытые системы, обыкновенно сопротивляющиеся гибридизации. Словарный состав — система открытая, легко поглощающая самые разнообразные элементы. Не приходится поэтому удивляться тому, что литературный язык так легко принимал в себя русские элементы, вступавшие с церковнославянской основой в самые разнообразные лексикальные и стилистические отношения, так обогащавшие словарный состав. Легкому проникновению русских слов сильно содействовало наличие огромного числа слов, общих церковнославянскому и русскому языкам (ломаносовские «славенороссийские речения»), служивших как бы мостом между обоими языками» (Рус. лит. яз., стр. 332). Итак: словарный состав «русифицировался очень медленно» и — «легко принимал в себя русские элементы»!

Как видим, Б. О. Унбегаун постепенно склоняется к тому, чтобы увидеть, наконец, в лексике русского литературного языка русские черты. В то же время, по мнению Б. О. Унбегауна, «в своей основе словарный состав современного русского литературного языка продолжает оставаться церковнославянским, и не только оставаться, но и развиваться и обогащаться при помощи церковнославянского словообразования. Такие новые слова, как *здравоохранение, соцсоревнование, истребитель, хладотехника* и многие другие, не являются, как принято думать (!? — Л. Ж.), заимствованными в русском литературном языке из чуждой ему церковнославянской стихии, а просто доказывают, что церковнославянский по происхождению русский литературный язык продолжает существовать и развиваться как каждый живой язык, по своим собственным законам»¹⁰ (т. е., согласно Б. О. Унбегауну, по законам церковнославянского языка!). И в последней работе он отмечает «новые церковнославянские слова, в обилии созданные в XIX и XX вв. и все еще создаваемые» (Рус. лит. яз., стр. 332).

*

Еще в 1927 г. В. В. Виноградов показал, что «своеобразие литературного языка обусловлено не столько его фонетико-морфологической базой, сколько особенностями его лексики, семантики и синтаксиса»¹¹. Поэтому

⁸ Там же.

⁹ Б. О. Унбегаун, *Язык русской литературы...*, стр. 129.

¹⁰ Там же, стр. 129.

¹¹ В. В. Виноградов, *К истории лексики русского литературного языка, «Русская речь. Новая серия»*, Л., 1927, стр. 90.

и в связи с выявлением противоречивости взглядов Б. О. Унбегауна на характер русской лексики и независимо от этого важно остановиться именно на древнейшей лексике и словообразовании. Материалом для дальнейшего рассмотрения послужит евангелие — памятник письменности, переводчики которого на славянский язык преследовали богословские, философские и политические цели; тем самым его язык входит в сферу литературного языка и по Б. О. Унбегауну.

Как известно, Древняя Русь с христианством приняла и богослужебные книги, написанные на формирующемся в то время старославянском языке. Первые из них появились на Руси не позднее 867 г., так как византийский патриарх Фотий в энциклике 867 г. говорил о крещении Руси как о состоявшемся факте. Константин Багрянородный позднее писал о своем деде Василии I Македоняине (867—886), что тот «не щадил усилий, золота, серебра и шелковых одежд для христианизации Руси»¹². Позднее старославянские книги шли на Русь и через Болгарию. Книги на старославянском языке были понятны восточным славянам, поскольку алфавит отражал состав фонем их языка (в отношении носовых даже с избытком), а в книгах были представлены свои или мало отличающиеся от собственных грамматические формы и словарный фонд. Последний был, в основном, общеславянским или построенным из общеславянских корней и словообразовательных морфем¹³. Словарный состав в первых переводах на славянский язык христианских книг был более богатым, чем в дописьменном языке, и не вполне понятным не только для восточнославянина IX—XI вв., но и для южнославянина и мораванина IX в., поскольку новая для славян лексика старославянского языка обозначала понятия и представления, относившиеся к новой для всех рядовых славян религии — христианству. В этих книгах впервые были поименованы не по-гречески (греческие наименования могли быть известны славянам-христианам и систематически посещавшим Византию воинам и купцам славянам-язычникам еще до крещения в 867 г. и тем более до официального принятия христианства на Руси в 988 г.) специфические понятия, присущие христианству и отправлению христианского культа, наименования определенных представлений, которые отсутствовали в языческой Руси.

Для всех этих категорий в древнерусском языке могло не быть наименований, а если наименования были, то они отражали сходные явления и понятия язычества и не могли быть вполне эквивалентными при обозначении соответствующих понятий и представлений христианства. Так, в период принятия христианства у славян, в том числе на Руси, слова вроде *вѣдѣма*, *вѣдунѣ*, *жърьць*, *колдунѣ*, *вѣлхъ* и т. п., видимо, не были признаны удобными эквивалентами для наименования христианских святых, отправителей христианского культа и деятелей церкви; названия языческих весенних праздников не годились для обозначения, например, пасхи. В определенных случаях постепенно развивалась дифференциация значений. Например, слова *господѣ* и *господинѣ* были в равной степени приняты для обращения к земному господину и к верховному божеству,

¹² Цит. по кн.: М. В. Л е в ч е н к о, Очерки по истории русско-византийских отношений, М., 1956, стр. 535.

¹³ К сожалению, еще не подсчитано количество словарных единиц, которые можно было бы признать появившимися у восточных славян с принятием христианства; тем более не подсчитана в составе разных текстов соотносительная употребительность восточнославянских слов (в том числе и общеславянских, которые, будучи общими, являются, естественно, и восточнославянскими) и слов, отсутствовавших в языке древних русов. Но есть данные полагать, что такой подсчет в процентах показал бы единицы или даже доли процента не восточнославянских языковых черт (особенно при подсчете слов, отсутствовавших в древнерусском языке и его диалектах). При подсчете употребительности в текстах процент окажется еще меньше.

но потом, как известно, функции этих слов начинают строго различаться. Это можно видеть на примере русской рукописи начала XII в. — Мстиславова евангелия, написанного в 1115—1117 гг. для сына Владимира Мономаха и английской королевы новгородского князя Мстислава Владимировича (ныне хранится в Гос. Историческом музее в Москве: собр. Синодальное, № 1203). В Мстиславовом евангелии названные слова употребляются одинаково в одном и том же тексте, но в чтениях на разные дни, написанных в разных местах рукописи. Так, слово *господинъ* в значении «господин земной; хозяин раба» (*gnz, gospodina*) находим в чтении на литургии во вторник страстной недели на л. 136б и 137а в текстах. Мт. XXIV 45, 46, 48, 50 и Мт. XXV 18, 19; то же на память Григория — 30 сентября — на л. 176в в текстах Мт. XXIV 45 и 46. Однако в чтениях цикла от пятидесятницы до нового лета в тех же текстах и, следовательно, в том же значении представлено слово *господь*: *га* в текстах Мт. XXIV 45, 46, 48, 50 в чтении на пятницу 10 (11) недели, л. 66г, в тексте Мт. XXV 19 в чтении на воскресенье 16-й недели, л. 66 г; в форме дат. падежа *ги* слово представлено в тексте Мт. XXV в том же чтении на воскресенье и на том же листе (в греческом слово *ὁ κύριος* было наименованием и земного господина и божества).

Таким образом, и применительно к старославянскому языку, и тем более к древнерусскому на рубеже X—XI вв. речь идет о том, что становятся известными или заимствуются вместе с их наименованиями определенные представления, мировоззрение, культура, обычаи, становятся известными какие-то реальные или мифологические герои, география и природные особенности той или иной страны, заимствуются предметы материальной культуры и т. п. Не известные ранее славянам наименования явлений этой новой культуры не были в каждом случае единственно возможными. Вся история языка списков произведений литературы, так или иначе обслуживавшей нужды церкви и пришедшей с христианством новой культуры IX—XIV вв., свидетельствует о непрерывном отборе и пополнении лексических средств, состоящем либо в выборе единственно возможного или, по мнению писца, лучшего варианта, либо в сознательном варьировании лексических вариантов, если они, с точки зрения писца или редактора, равноценны (как мы теперь сказали бы — синонимичны). Одновременно проходила и выработка синтаксических норм, необходимых для развитого письменного литературного языка, на котором переписывались произведения высокой книжности.

Лишь с конца XIV — начала XV в. некоторые уже существующие хорошо освоенные понятия и представления христианства получают новые наименования, заимствованные из появившихся вместе с митрополитом Киприаном южнославянских книг. Тогда же некритически заимствуется на некоторое время графика и орфография этих книг, подчас идущая вразрез с фонетикой и грамматикой русского языка и его диалектов, также изменившимися к концу XIV в. Лишь с этого периода, видимо, можно ставить вопрос о каком-то влиянии на язык как таковой. Следовательно, и о появлении церковнославянской разновидности средневекового русского литературного языка можно говорить лишь с этого времени.

Таким образом, распространенные представления об истории русского литературного языка, с нашей точки зрения, в наибольшей степени связаны с неразличением плана содержания (появлением в IX—X в. понятий и представлений, связанных с новым явлением культуры — христианством), с одной стороны, и плана выражения (номенклатуры этих понятий), с другой стороны.

Неверные представления об истории литературного языка связаны также с недостаточной разработкой основных сохранившихся до нашего

времени письменных источников древнейшего периода восточнославянской письменности. На лексический фонд памятников, переведенных на старославянский язык и бытовавших в Древней Руси, исследователи обращают очень мало внимания. Не фиксируется словарь древнерусских богослужебных книг, формировавших словарь древнерусского образованного человека, и в составляющемся «Словаре древнерусского языка XI—XIV в.». В опубликованном введении к Словарю прямо говорится: «... церковно-каноническая литература (Евангелие, Апостол, Псалтырь, книги Ветхого завета) остается за пределами круга источников данного словаря»¹⁴. И это несмотря на то, что двумя абзацами выше там же читаем: «Источниками словаря древнерусского языка являются древнерусские письменные памятники XI—XIV вв. с относящимися к самым различным жанрам текстами, которые создавались или переводились на Руси или, будучи переведены не на Руси, имели на древнерусской почве длительную литературную историю (переписывались, редактировались, перерабатывались)»¹⁵. Между тем, как свидетельствуют данные «Предварительного списка славянорусских рукописей, хранящихся в СССР»¹⁶, именно Евангелие, Апостол и Псалтырь больше всего переписывались на Руси и имели наиболее длительную историю существования, а как показали исследования В. И. Срезневского, Г. А. Воскресенского и наши, Псалтырь, Апостол и Евангелие на русской почве неоднократно редактировались и перерабатывались и притом не только со стороны языка, но даже и со стороны содержания и композиции отрывков, составляющих тот или иной тип книг¹⁷.

К сожалению, материалы высокой книжности, без которых не может быть понята история любого славянского национального литературного языка, на основании рукописных источников, а не умозрительно, разрабатываются пока у нас очень мало¹⁸. Исследование языка, и прежде всего лексики и синтаксиса¹⁹, по спискам разных памятников все еще остается важной задачей в истории древнерусского и средневекового русского литературного языка.

Древнерусский литературный язык в своей основе не был церковнославянским или старославянским и до конца XIV в. свободно развивался не

¹⁴ «Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. Введение, инструкция, список источников, пробные статьи», под ред. Р. И. Аванесова, М., 1966, стр. 16.

¹⁵ Там же, стр. 15.

¹⁶ «Археографический ежегодник за 1965 год», М., 1966. См. также: Л. П. Жукowska, Памятники русской и славянской письменности XI—XIV вв. в книгохранилищах СССР, «Советское славяноведение», 1969, 1.

¹⁷ В. Срезневский, Древний славянский перевод Псалтыри. Исследование его текста и языка по рукописям XI—XIV вв., СПб., 1877; Г. Воскресенский, Древний славянский перевод Апостола и его судьбы до XV в. Опыт исследования языка и текста славянского перевода Апостола по рукописям XII—XV вв., М., 1879; его же, Характеристические черты четырех редакций славянского перевода Евангелия от Марка по сто двенадцати рукописям евангелия XI—XIV вв. [Сергиев Посад, 1895]; Л. П. Жукowska, О переводах евангелия на славянский язык и о «древнерусской редакции» славянского евангелия, «Славянское языкознание. Сборник статей», М., 1959; ее же, Типология рукописей древнерусского полного апракоса XI—XIV вв. в связи с лингвистическим изучением их, «Памятники древнерусской письменности. Язык и текстология», М., 1968; ее же, Текстологическое исследование наследия Кирилла Философа, «Константин Кирил Философ. Доклады от симпозиума, посвящен на 1100-годишнина от смъртта му», София, 1971.

¹⁸ Мы могли бы назвать лишь работы Л. С. Ковтун, См.: Л. С. Ковтун, Русская лексикография эпохи средневековья, М.—Л., 1963; ее же, Русские книжники XVI столетия о литературном языке своего времени, «Русский язык». Источники для его изучения», М., 1971.

¹⁹ Своеобразие литературного языка в период, о котором можно судить только по письменным источникам, выражалось не столько в фонетике и морфологии, о которых свидетельствует орфография и отклонения от нее, сколько в особенностях «его лексики, семантики и синтаксиса» (В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 90).

только по своим отраженным в местных нормах орфографии фонетическим и морфологическим законам, но и по собственному пути отбора лексических единиц (из числа представленных в первых переводах христианских книг на славянский язык) и замены южнославянизмов или неудачных новообразований материальными и семантическими восточнославянизмами. Отбор и использование единиц собственного словарного фонда и словообразования облегчались тем обстоятельством, что старославянский язык, представленный в церковных книгах, изначально не был языком определенного славянского народа и не отражал какой-либо один славянский диалект, но уже в X в., а теоретически и в IX в., кроме множества общеславянских черт, включал в себя разнообразные диалектные лексические варианты, а также неодинаковые новообразования в переводе одних и тех же греческих слов. Это хорошо представлено в лексических разночтениях, содержащихся в разных списках одного и того же памятника (и тем более — в разных памятниках). Среди них варианты первого перевода Кирилла, варианты Мефодия и его учеников, диалектные варианты, появившиеся под пером редакторов в охридском и преславском литературных центрах; отбор вариантов проводился при целенаправленном редактировании (как это было, например, с Саввиной книгой) или при индивидуальном использовании языковых средств тем или иным переписчиком.

Очень показателен в этом отношении словарь Евангелия — памятник письменности, широко распространенного на Руси, по крайней мере, уже с XI — начала XII в. Этот период для наших рассуждений важен потому, что Б. О. Унбегаун утверждает непрерывность развития русского литературного языка именно с XI в. до наших дней (Ист. гр.-ка, стр. 267). Евангелие в Древней Руси использовалось и в литературных целях, и в качестве назидательного чтения. В настоящее время его списки составляют в наших книгохранилищах более 25% сохранившегося письменного наследия XI—XIV вв. В этом памятнике, естественно, должна быть представлена старославянская лексика, так как переводился он не у восточных славян, а в южных и западных областях славянской территории. Что же мог сохранить с XI в. русский литературный язык из такого широко распространенного, ежедневно звучавшего в церкви и часто цитировавшегося памятника?

Вновь обратимся к Мстиславову евангелию. Оно особенно интересно тем, что некоторые тексты в составе разных чтений написаны в нем по два, три, четыре и даже пять раз. Это дает возможность судить о лексическом и словообразовательном разнообразии в одном и том же тексте не по разным рукописям, как это обычно делается, но в одном и том же тексте (словосочетании, слове), восходящем к одному и тому же тексту греческого евангелия, представленному по-разному в одной и той же рукописи.

Когда исследователю приходится иметь дело с изолированно взятыми рукописями (например, только со старославянскими), да к тому же еще близкими друг к другу по редакции (как, например, обычно цитируемые Зографское и Марииинское евангелия), то он, сопоставляя всего лишь эти два списка с критическими изданиями греческих текстов, обычно считает возможным судить о чертах славянского перевода, которые совпадают (или, наоборот, не совпадают) с греческим оригиналом (хотя оригинал — абстракция, поскольку нет никаких оснований какую-либо сохранившуюся до нашего времени греческую рукопись считать оригиналом для славянского перевода IX в.) и на основании такого сопоставления делать прямые выводы об особенностях того или иного славянского языка древнейшей поры. Такое изолированное рассмотрение узкого круга источников и могло породить бытующее неверное представление о единстве (цельности) старославянского языка, а Б. О. Унбегауну позволило распространить

его и на историю русского литературного языка. В действительности же как южнославянские писцы, так и еще более древнерусские свободно изменяли текст, подчас излагали его своими словами, употребляли разную фразеологию, нередко переписывали не слово в слово, а только передавая общий смысл своего оригинала. Прекрасной иллюстрацией этого служат повторяющиеся чтения Мстиславова евангелия (далее — Мст.). Они со всей очевидностью показывают, что древнерусские писцы достаточно свободно варьировали по языку одни и те же тексты при их переписке. Приведем несколько примеров.

1. В трех чтениях Мст. представлено свободное изложение текста М. XV. 38. Этого текста нет в старославянских кратких апракосах — Ассеманиевом, Саввиной книге и в Остромировом евангелии (далее — Ас., СК и ОЕ). В старославянских тетрах Зографском и Маринском (далее — Зогр. и Марн.) он представлен так: *опона цркъѣнаѣ раздѣра сѧ на дѣюѣ. сѧ быше до ниже* (цитируется по Зогр.; в Марн. отклонения только в графике). В Мст. к старославянским наиболее близко чтение на третий час в страстную пятницу, помещенное на л. 158в (см. ниже первый столбец). Здесь заменено только слово *опона* словом *запона*, т. е. разница в словообразовании. Однако слово *запона* отсутствует в старославянских памятниках, оно не отмечено Садник и Айцетмюллером²⁰, его нет и в составляющемся Словаре старославянского языка ЧСАН²¹. Зато, по Далю, оно широко распространено в русских говорах в значении всякого рода занавесок и завешивающих что-либо полотнищ, а также как название фартука. В чтении 16 октября на л. 172г в Мст. в этом же тексте встречаем слово *завѣса*. Садник и Айцетмюллер его не указывают, в Словаре ст.-сл. языка ЧСАН оно указано только по русскому списку XV в. апокрифического Никодимова евангелия (I, стр. 631). В чтении на пятницу мясопустной недели вместо прилагательного *църкъвьнаѣ* находится описательное выражение *храма божиа*. В соответствии выражению *сѧ выше до ниже* читаем *отъ горы доже и до дола*. Сходное выражение со словом *долъ* представлено только в Супрасльской рукописи: *отъ горы дожи и до долоу* (Словарь ст.-сл. языка ЧСАН, I, стр. 502). В чтении 16 октября этому выражению соответствует: *сѧ вышньаѣго краѧ, до нижньаѣго*. Приведем текст М. XV 38, трижды написанный в Мст., полностью:

116в, пятница	158в, 3-й час	172г, 16 октября
мясопустной недели:	в страстную пятницу	
и опона	и запона	и заѣтса
храма бѣжиа	църкъѣнаѣ	църкъѣѣнаѣ
раздѣра сѧ на дѣюѣ	раздѣра сѧ на дѣюѣ	раздѣра сѧ на дѣюѣ
отъ горы	сѧ быше	сѧ вышньаѣго краѧ
доже	—	—
и до дола.	и до ниже.	до нижньаѣго

Приведенный пример показателен не только своими расхождениями, но еще и тем, что представленные в Мст. различия не связаны с разницей между первым переводом Кирилла (переведшим, видимо, краткий, но, может быть, даже праздничный апракос) и приписываемым обычно Мефодию переводом так называемых комплекторных частей, дополнявших краткий апракос до тетра. В краткий апракос этот текст не входил, следовательно, на старославянской почве он был переведен только для тетра и не

²⁰ L. Sadnik, R. Aitzetmüller, Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten, Heidelberg, 1955.

²¹ «Slovník jazyka staroslověnského», Praha, вып. 1—22, 1958—1972 (вып. 1—14 = т. I) (далее в тексте: Словарь ст.-сл. языка ЧСАН).

мог иметь разночтений, характерных для первоначального и мефодиевского переводов.

2. Ниже приводится текст М.V 26, который содержится не только в тетрах Зогра. и Марн., но и в кратких апракосах Ас., СК, ОЕ: и много пострадавши отъ многа брачекъ и иждикши ксе свое и ни единого полза обрѣтши нз паче кз горе кзпадши. Разночтения единичны для каждой из пяти рукописей: брачи — Ас., балии — Марн.; издакши (вместо иждикши) — Ас.; свое ксе — ОЕ; ни единого же — ОЕ; кз горе — Ас.; припадши (вместо кзпадши) — Зогра. и Марн. Гораздо больше различается между собой этот текст в двух чтениях одной и той же рукописи — Мст., причем оба они весьма существенно отличаются от приведенного текста названных пяти древнейших рукописей.

61 г, понедельник 14 (15) недели 176в, 4 декабря:

по пятидесятнице:

и много примзши
отъ многа брачекъ
и издакши
отъ себе ксе.
и ничаго же не оуспѣкши
нз паче на горыше
припадши.

и много пострадавши
отъ многа брачекъ
и раздакши
ксе имѣние свое.
и никоего же ползы обрѣтши
нз паче кз горе
кзпадши.

3. Текст М.VI 5 не может быть отнесен к первому переводу, так как отсутствует в кратких апракосах. Следовательно, на старославянской почве он не должен был редактироваться или переводиться заново при переводе комплекторных частей, а переводился всего лишь первый раз. Априорно можно было бы ожидать его стабильности, но уже Мст. показывает, как и этот текст живет под пером переписчиков.

62б, вт. 14 (15) по пд.:

183в, 2 января:

198в, 19 июня:

и не можааше тоу
ни единого силы сътворити.
нз тѣкмо
малонеужжаникѣ
кззложѣ роуцѣ
ицѣли

и не можааше тѣ
ни единого силы сътворити.
нз тѣкмо
на малѣ недоужжанихъ
положи роуцѣ.
и ицѣли ѣ.

и не може тоу
сътворити ни единого
силы.
нз тѣкмо
на маленедоужжанихъ
кззложѣ роуцѣ
и ицѣли.

4. Еще пример свободного обращения с текстом Л. VII 44—45, 46: 77б, понедельник 4-й недели 168г, 16 сентября:

нового лета:

и обратикъ сѧ кз женѣ
рече симмону
кидиши ли сию жену
пришла юста кз храниж твоею.
коды на нозѣ мои не да.
си же глазами омочи нозѣ мои
и власы своими отаре.
любзаниа мнѣ не даста...
маслзма дрѣканима...
хризмоу...

и обратикъ сѧ кз женѣ
симмону рече.
кидиши ли сию жену.
кзнидохъ кз домѣ
и коды на нозѣ мои не кздаста.
си же глазами омочи нозѣ мои
и власы главы своего отаре.
цѣлованиа не даста мнѣ...
маслзма...
мастну...

5. В приводимом ниже примере можно видеть, что лексические, синтаксические и текстологические различия не связаны между собой. Это свидетельствует о том, что расхождения при передаче одних и тех же текстов в разных чтениях Мст. не связаны непосредственно с разными оригиналами, которые можно было бы предложить для разных чтений Мст. Так, в тексте М. XV 33 синтаксическое различие — употребление простого обстоятельства времени (отъ шестаго часа) в одном случае и употреб-

ление оборота «дательный самостоятельный» (*бывъшию же часоу шестоу-оумоу* или *бывъшию же годинѣ шестѣ*) в других случаях не обязательно связано с текстологической особенностью (положение текста в начале чтения или в середине его), так как есть пример, когда дательный самостоятельный отсутствует именно в начале чтения. Характерно, что лексическое различие (слова *часъ* или *година*) не совпадает здесь с различием синтаксическим и не сопровождает его. Наоборот, синтаксическое и лексическое различия перекрещиваются:

1166, пятница мясо-пустной недели:	158, 3-й час в страстную пятницу:	172в, 16 октября:
БЫКЪШИЮ ЖЕ ЧАСОУ	БЫКЪШИЮ ЖЕ ГОДИНѢ	КЪ ОНО БРѢМА. ОГЪ
ШЕСТОУОУМОУ ТАМА	ШЕСТѢ ТАМА БЫСТА	ШЕСТАДОГО ЧАСА ТАМА
БЫСТА ПО ВСЕЙ ЗЕМЛѢ	ПО ВСЕЙ ЗЕМЛИ	БЫСТА ПО ВСЕЙ ЗЕМЛИ
ДО ДЕСАТАГО ЧАСА.	ДО ГОДИНЫ ДЕСАТЫЯ.	ДО ДЕСАТАГО ЧАСА.

В Мст. многочисленны примеры слов, употребленных в одних и тех же текстах, но в чтениях на разные дни, в которых эти слова (иногда отличающиеся только словообразованием) выступают в качестве семантически тождественных или очень близких лексических единиц:

тишина — *ведро*, *потопъ* — *вода*, *ковчегъ* — *корабль*, *храмъ* — *храмина* — *домъ* — *клѣтъ*, *мрежа* — *неводъ*, *брегъ* (о море) — *краи*, *уго* — *изрежъ*, *брань* — *ратъ*, *плѣма* — *сѣма* — *родъ*, *причастіе* — *наслѣдіе*, *причастникъ* — *наслѣдникъ*, *бесправдіе* — *несытость*, *лоукавство* — *проньерство*, *коньчание* — *коньчина* — *коньць*, *дѣлание* — *дѣло*, *олтарь* — *требникъ* — *жрътвенникъ*, *оумъ* — *разоумъ*, *сѣборище* — *сѣборъ*, *господинъ* — *господъ* и др.;

юдиныи и *юдиныи* — *юдиныи* и *дрозыи*, *нѣкыи* — *дрозыи*, *сѣбърани* — *сѣвъкоуплени*, *драхлота* — *оунывата*, *повиньнъ* — *дѣлжънъ*, *боуи* — *боуавъ*, *нечъстѣнъ* — *бесчъстѣнъ*, *ехидьнѣскъ* — *ехидьновъ*, *кинсьнъ* — *кинсовъ*, *първѣи* — *преже*, *кыи* — *которыи*, (*къ*) о *комъ* — (*къи*) о *комъ*;

оукрашати — *оутварати*, *очютити* — *оувѣдѣти*, *сѣздати* — *сѣградити*, *вѣдѣти* — *знати*, *погарати* (о небе) — *чърмьноватиса*, *ноудитиса* — *бѣдитиса*, *сѣмѣратиса* — *обнижатиса*, *нарицати* — *зѣвати*, *оуѣцати* — *цѣдити*, *вѣлѣсти* (в дом) — *вѣнити*, *вѣзвыситиса* — *вѣзнестиса*, *прицати* — *вѣзати*, *покататиса* — *раскататиса*, *вѣскресноутити* — *вѣстати*, *отѣлоучати* — *разлоучати*, *ижденоутити* — *отѣженеутити*, *дати* — *вѣдати* — *предати*, *грати* — *ити*;

бѣдѣнъ — *неудобъ*, *моуѣно* — *вѣзможъно*, *доселѣ* — *донынѣ*, *отѣселѣ* — *отѣнынѣ*, *аминъ* — *аминъ* — *право*, *наполы* — *полотѣма*, *вѣноутрь* — *оутрь* — *оутрьоудѣ* — *оутрьюдоу*, *отѣкоудѣ* — *отѣкоудоу*, *послѣди* — *послѣдъ*, *трикраты* — *тришѣды*, *такожде* — *тоже*, *вѣнѣ* — *вѣнѣюдоу*, *отѣкоудоу* — *отѣкоудѣ*;

вѣрхоу — *надѣ*, *сквозѣ* — *по*, *и* — *да*, *ако* — *ако*, *тѣкъмо* — *нѣ*, *а* — *же*, *и* — *ти*, *ли* — *оу*, *же* — *бо* — *оубо* — *оуже*, *оу* — *вѣ*, *ли* — *или*, *при* — *предѣ* и мн. мн. др.

Не меньший интерес представляют неповторяющиеся чтения русских полных апракосов, в которых достаточно выразительна, например, бытовая лексика. Так, в тексте М. VII 4, в чтении на пятницу 15-й недели нового лета в Мст. читаем *чаши* вместо *стѣкланица*, *гѣлкѣ* (ср. украинское и диалектное русское *гличик*) вместо *чванъ* (*чѣбанъ* в Мирославовом евангелии), *мѣдныи* вместо *котѣль*.

Приведенные примеры лексических расхождений относятся к передаче одних и тех же текстов, написанных по два или несколько раз в разных частях только одной рукописи — Мстиславовом ев. 1115—1117 гг. Если же сопоставить одни и те же тексты в разных рукописях, представляющих

списки этого памятника (Евангелия), то лексических расхождений обнаружится еще больше. Естественно, что при обращении к греческим источникам, представленным в современных сводных изданиях, славянские лексические варианты, соответствующие одному и тому же греческому слову в разных контекстах, оказываются еще многообразнее и гораздо многочисленнее.

Все изложенное свидетельствует, по крайней мере, о следующем:

1. Древние славянские писцы, в том числе и древнерусские, свободно обращались со словарем переписываемых оригиналов и заменяли своими диалектными или лучше усвоенными словами литературного языка лексику даже в богослужебных памятниках, к тексту которых, как ошибочно думают, писцы должны были бы относиться с большим пиететом.

2. Поскольку даже словарь старославянских по происхождению переводов живет, развивается, заменяется, дополняется писцами в разных славянских странах, как это хорошо прослеживается по огромному числу древнейших рукописей, и особенно на Руси в XI—XIV вв., лексика русского литературного языка в целом на протяжении многих веков (с XI по XX «до автобиографии Паустовского») не может быть цельной и единой.

3. Сложившееся у Б. О. Унбегауна представление о непрерывном развитии современного русского литературного языка с XI в. на базе старославянского, а затем церковнославянского языка, беспочвенно: такое развитие не могло иметь места хотя бы потому, что язык (в том числе и словарь) бытовавших на Руси церковнославянских по тематике и старославянских по происхождению памятников уже в XII в. представлял в высшей степени разнородное и неустойчивое образование, находившееся в движении. Как показано выше, уже в начале XII в. на Руси не существовало единого во всем словаря этих памятников, который впоследствии развивался бы по единому руслу вплоть до наших дней.

*

Другая, быть может основная, неверная посылка в рассуждениях Унбегауна основана на том, что, выделяя общие для древнерусского народно-разговорного языка и старославянского литературно-письменного языка фонетические, грамматические и лексические явления, он полагает, что «... именно этот общий слой и сделал возможным конечное торжество церковнославянского как литературного языка России»²². Мы бы сказали обратное: именно этот общий слой позволил русскому языку легко пополниться южнославянскими словами, в разной степени отличавшимися от их собственных — восточнославянских: 1) словами, имеющими закономерные фонетические отличия (например, *градъ*, *страна*, *мѣсто*, причастия на *-ѣ-*); 2) словами, имеющими не вполне одинаковое значение в разных частях славянской языковой области (например, *тишина* — *ведро*, *мръжа* — *неводъ*, *часъ* — *година* — *годъ*); 3) словами, различающимися словообразовательными аффиксами (например, *опона* — *запона*, *дѣланіе* — *дѣло*, *коньчанине* — *коньчина* — *коньць*).

Мы привели примеры наиболее существенных для лексики различий семантического и материального (состав корневых или словообразовательных морфем) планов, а также закономерных в прошлом фонетических различий (неполногласные, иные, чем в восточнославянских диалектах, рефлексy сочетаний согласных с *j* и др. черты языка южных славян), в которых обычно особенно охотно усматривают славянизмы (вплоть до пресловутого примера *хладотехника*). Легко заметить, что даже эти раз-

²² Б. О. Унбегаун, *Язык русской литературы...*, стр. 130.

личия свободно укладываются в общую типологию диалектных различий русского языка²³, поскольку они приобрели свойственную им ныне окраску книжности сравнительно поздно.

Положение Б. О. Унбегауна грешит и против логики. В самом деле, если какое-то сложное явление состоит из элементов (А + В), а сопоставляемое с ним из элементов (В + С), то для выяснения специфики каждого из явлений надо сопоставить различное в них, т. е. А с С, но не противопоставлять А сумме (В + С). Если обозначить через В явления, общие для дописменного русского народно-разговорного языка X в. (А + В) и старославянского литературно-письменного языка (В + С), то необходимо сопоставить А (т. е. специфические древнерусские явления) с С (специфическими старославянскими явлениями), но во всяком случае не А противопоставлять (В + С), как это сделал Унбегаун.

Даже изучение языка памятников, переведенных в южнославянской области, по спискам их, бытовавшим на Руси в XII—XIV вв., показывает, что слой специфических южнославянских особенностей (С) в их языке не был значительным. Древнерусские писцы не всегда заменяли в переписываемых ими книгах такие южнославянские особенности на собственно древнерусские написания (т. е. отражавшие древнерусские звуки, формы и словарь), но таких случаев было немного, и использовались они для пополнения языковых средств формирующегося уже со второй половины IX в. древнерусского литературного языка.

*

История русского литературного языка древнейшего периода в общих чертах предварительно представляется нам так:

Старославянский язык функционировал у славянских народов с IX в., когда на этот язык были переведены с греческого основные памятники, обслуживавшие нужды христианской церкви. Старославянский язык был общим письменным славянским языком. Он не совпадал полностью ни с одним живым славянским языком или диалектом, обслуживал всех славян, формировался в разных славянских языковых зонах того времени, в том числе и в Древней Руси. Старославянский язык имел огромный общеславянский фонд лексики, словообразовательных формантов, более чем на 90% (это надо и можно постепенно уточнить) общий фонемный состав и состав грамматических форм, что обеспечило успешное распространение старославянской письменности у всех славянских народов.

Не следует забывать и прямых указаний современников об общности даже разговорного языка южнославянских и восточнославянских народов еще в конце X в. К ним принадлежит сообщение византийского историка Скилицы (и его копииста и компилятора Кедрина) о том, что когда в 970 г. русское войско «сражалось с византийцами, имея союзниками болгар, венгров и печенегов, то русские выстраивались вместе с болгарами как говорящие на едином славянском языке»²⁴. Общеславянский и общий южно- и восточнославянский фонд словаря церковных памятников позволил древнерусскому языку свободно впитать в себя отсутствовавшие в нем южнославянские и западнославянские по происхождению слова старославянского языка, воспринимавшиеся русскими людьми IX—XII вв. не более как диалектизмы, и освоить специ-

²³ Ср.: Л. П. Жуковская, Типы лексических различий в диалектах русского языка, ВЯ, 1957, 3.

²⁴ М. В. Левченко, Очерки по истории русско-византийских отношений, М., 1956, стр. 285 (разр. наша. — Л. Ж.).

фическую лексику христианских книг, созданную в IX в. на базе общеславянских корней и словообразовательных элементов и отсутствовавшую в дохристианской Руси и у славян вообще.

На протяжении XI—XIV вв. между живыми славянскими диалектами увеличиваются языковые различия. В значительной степени это связано с процессом падения редуцированных и особенно его последствиями как в области фонетики и грамматики, так и в лексике и словообразовании. Но даже и до падения редуцированных, когда славянские языки и диалекты были значительно ближе между собой, практически для восточных славян не имело значения то обстоятельство, что на одном и том же языке писали и на том же языке, но с некоторыми закономерными фонетическими и морфологическими различиями говорили, а также параллельно с ними использовали в своей практике те же книги славянские народы и на других территориях. Дело обстояло примерно так, как сейчас для говорящих на русском языке и пишущих по нормам современной орфографии представителей южновеликорусской языковой зоны — несущественно, что на этом же языке говорят (с некоторыми отличиями) и по законам этой же орфографии пишут представители северновеликорусской языковой зоны. И для древнерусов в XI в. практически было неважно, что на близком языке говорили и те же книги использовали болгары, сербы и другие южнославянские народы. Для древнерусов это был их собственный литературный язык. Со своими даже богослужебными памятниками они обращались довольно свободно, заменяя в них небольшой процент малоупотребительных или неупотребительных в их живой речи слов более употребительными, или слова, имеющие несколько иное значение, заменяли своими словами, значение которых, по мнению древнерусских писцов, более подходило к тому или иному контексту. «Уже в XI в. русские люди обращаются с церковнославянским языком как со своим достоянием, как с „собственностью всенародной“»²⁵, — писал В. В. Виноградов, излагая мысли А. А. Шахматова. По-видимому, аналогично поступали со своими памятниками сербы и болгары. В результате к концу XIV в. язык христианских книг в разных зонах расселения южнославянских и древнерусского народов стал различаться. Одновременно меняется и народная основа литературного языка, так как южная и западная часть Древней Руси оказываются на четыре века в одних государственных объединениях, а северо-восточная и северная — в другом.

Именно поэтому в конце XIV и особенно в XV в., когда у восточных славян зарождается новое собственное централизованное государство — Московское, возникает потребность в церковных книгах, единообразных по тексту, словарю, фразеологии и формам. С этой целью сначала предпринимаются попытки новых переводов в Византии (3-я редакция церковных книг, по Г. А. Воскресенскому), потом же, по-видимому, побеждает тенденция использования южнославянского наследия (4-я редакция церковных книг). Книги, распространившиеся из какого-либо центра Руси (Москвы, Троице-Сергиева монастыря, Новгорода или другого), не считались образцом, так как содержали слишком много разночтений. Вместе с тем намечается тенденция к арахаизации языка церковных книг и богословской литературы вообще.

Была ли ведущей в процессе так называемого «южнославянского влияния» конца XIV—XV в. тенденция к архаизации языка или тенденция к южнославянским заимствованиям, пока сказать определенно нельзя. Также не вполне ясно, в каких случаях в этот период в качестве эталонов

²⁵ В. В. Виноградов, О новых исследованиях по истории русского литературного языка, | ВЯ, 1969, 2, стр. 5.

заимствовались сами книги и в каких возобладала тенденция к южнославянским заимствованиям в графике, орфографии и словаре. Эти вопросы еще требуют специальных исследований. Язык этих новых по редакции славянских богослужебных и богословских книг послужил впоследствии основой для выделения церковнославянского языка в Московском государстве из единого прежде древнерусского литературного языка.

Отношение к этому новому, т. е. архаизированному, южнославянизированному и в какой-то мере искусственному языку, в дальнейшем не было одинаковым у представителей русской интеллигенции. Так, Л. С. Ковтун по рукописи 1602—1605 г. (ГПБ, собр. Погодина, 1143) приводит критику Нилом Курлятевым языка митрополита Киприана и книг его времени, в которых, с точки зрения Нила, представлены сербские и болгарские слова вместо русских ²⁶.

Таким образом, только после так называемого южнославянского влияния конца XIV — начала XV в., с которым южнославянизмы и архаизация пришли в высокие жанры единого древнерусского литературно-письменного языка, создаются условия для выделения из общего древнерусского языка церковнославянского. На 100—150 лет это нанесло тяжелый удар по издревле самостоятельно развивавшемуся древнерусскому литературному языку. К языковому фактору присоединились политические и экономические: четырехсотлетнее обособление южных и западных древнерусских диалектов в пределах Великого княжества Литовского (1263—1430 гг.) и Речи Посполитой (Левобережье Днепра до 1654 г., Правобережье и Белоруссия до 1772 г.). Постепенно это привело к образованию самостоятельных языков — украинского и белорусского.

Вследствие этого русский литературный язык в процессе своего развития обособляется не только от архаизированного, искусственно созданного в основном на протяжении XV в. русского церковнославянского языка, но и от близкородственных украинского и белорусского языков. Он формируется на основе традиций древнерусского литературно-письменного языка, представленного в классической форме в памятниках первой половины и середины XIV в., и на основе центральных и северо-восточных русских говоров. В результате четырехвекового отторжения западных и южных земель народная основа русского литературного языка менялась: она сужалась и переместилась в северо-восточную языковую зону.

А. А. Шахматов близко подходил к пониманию разных путей развития русского литературного языка в раннюю эпоху его существования, с одной стороны, и на позднем этапе, с другой. Так, он отмечал для начального этапа «общих деятелей» и «общее направление: светский памятник не может еще отказаться от церковного учительства... Лишь спустя долгое время наступает заметная и отчетливая дифференциация между письменностью церковной и гражданской, светской и духовной» ²⁷. Эта «отчетливая дифференциация» и означает формирование (начиная с XV в.) особого церковнославянского языка, становление которого далеко не прямолинейно осуществлялось в Московском государстве в период книгопечатания и даже позднее, в редакциях XVIII в.

²⁶ Л. С. Ковтун, Русские книжники..., стр. 6, 7 и др.

²⁷ А. А. Шахматов, Курс истории русского языка, ч. 1, 2-е [литограф.] изд., СПб., 1910—1911, стр. 194—195.